

Часто даже опытный читатель не знает, где начинается литература (в ритуале, мифе или его кризисе?) и где заканчивается. Тревожащая размытость границ – залог разрастающегося объёма полномочий. Есть или нет литературность в Священном Писании? “Размышления Марка Аврелия” и византийская “Лествица” – в истории философии и нравственного богословия или справедливо присутствуют в учебниках по античной и средневековой литературе? Или удел литературы – в создании особого пространства, где встреча с событием, наслаждение красотой мира и зарождающаяся мысль о спасении души могут быть одним действием? Не только могут, но и должны?

... Преподают, издают, официально прославляют... Но жива ли художественная литература, есть ли у неё перспективы в стремительно меняющемся мире? Атакуют современные рационалисты: “...Лишь устаревшая классика и никому не нужные новые книги. Литературный текст – избыточный, безнадёжно тормозной способ захвата информации, препятствие на пути нового человека. С его иными скоростями, другими запросами, при отсутствии времени на эту устаревшую, пыльную виртуальность”. С другого фланга нападают воины: “Нет! Литература – перенос жизненной битвы со всеми рисками и высокими эмоциями в бумажные, ограниченные книжностью пределы. Пока ты – потенциальный герой – выпадаешь в чтение, враг делает своё чёрное дело”. Присоединяются священнослужители: “Литература ваша художественная – это бездействие в сфере духа, неспособность к поступку покаянному и дурная фантазия при очень внимательном созерцании чужих подвигов и падений”.

Да и многие филологи наших дней пребывают в плохом настроении: “Нас давно победили, мы бесполезны. Кругом агрессивный “постмодернизм” и усиливающаяся бюрократия. Мы всё слабее и старше, всё меньше верим в слово. Студенты нового века – не надежда и закономерная смена, а знак деградации. Читают по кратким содержаниям, читают без всякого желанья, вообще не читают...”

Долой уныние! Литература – уникальное поле битвы. Здесь полководцы не только пытаются пленить или уничтожить врага, но проговариваются, неизбежно пробалтываются о своих самых уязвимых местах. Это особенно верно для прозы нашего времени. Не каждый современный текст – русский или зарубежный – позволяет взойти на вершины красоты и нравственной глубины. Но я не встречал бесполезного произведения, написанного в XXI веке. Какая мощная каталогизация новейших угроз! Какой эпос встреч

с кризисами, льдом и металом, образовавшимися в мировоззренческих пристрастах рубежа тысячелетий! Когда читаешь Людмилу Улицкую или Дмитрия Быкова, словно разговариваешь с крепко выпившим разведчиком. Он действительно многое знает и понимает, многое здесь не любит, и вот теперь честно, не утаивая деталей, рассказывает, что и почему. Слава литературе, заставляющей мировоззренческих противников публично исповедоваться!

У защитников литературы всегда под рукой простые аргументы. Художественная словесность — область воспитания, вхождение в национальный миф, познание русского мира, уверенное пребывание в нём. Это лучший тренажёр для развития памяти, ума и сердца. Житейский опыт и одновременно незабываемые встречи с красотой. Лучшие герои благотворно влияют на читателя, ненавязчивую проповедь озвучивают. Благодаря художественным текстам мы не проваливаемся в избыточный прагматизм и не угасаем, не скисаем в бытовых контекстах. Да, литература — это сверхбытие. По отношению к “повседневности” — несомненная вертикаль. Не так уж мало — в мире, где можно свихнуться от служения пышной обыденности и благоустроенности.

Двигаясь от простых аргументов к более сложным, хочу сказать о “дидактике формы”. При безумных скоростях нашего времени сокращение любой истории до анекдота, афоризма или клипа становится нормой. Сознание экономит силы там, где требуется внимание, анализ происходящего, необходимость тратить время и мысли. Большая книга терапевтически обращается к современному человеку самим сюжетом — сложным, сочетающим события и речи, которые нельзя пролистать, от которых невозможно отмахнуться.

“Дидактика формы” — в протяжённости произведения. Романа, прежде всего. Есть в этой протяжённости призыв к дисциплине ума. В состоявшейся истории есть и противостояние суеверия — влиятельному демону рубежа тысячелетий. Человек читающий — на пути владения собой; в продуманном построении текста вижу возможность созидания себя, способность к обретению сюжетно-композиционной гармонии внутри собственной жизни. Перефразируя и споря с эллинистическим поэтом Каллимахом, скажу: “Большая книга — защита нашей человечности”.

Литература — это мирооправдание. Оправдание мира в совершенных формах красоты. Древние греки, осваивая искусство трагедии, предложили слово “катарсис”. Бытие словно нуждается в изломах, чтобы быть осознанным и парадоксально принятым. Зрителю страшно, душевно больно — и страшно интересно в осознании человеческой участи, в пересечении великого героя и тебя самого. В этой точке осмысленного, возвышающего над прахом страдания. Трагический катарсис — создание эмоциональной и нравственной вертикали при чётком осознании, что от судьбы и смерти не уйти. Пойманный сюжетом, художественным словом хаос перестаёт быть разрушительным явлением. Жизнь, отразившаяся в зеркале эстетики, призывает прожить её ещё раз — достойно.

В расширенном толковании катарсис — общее условие существования литературы. Можно вести речь о прагматическом катарсисе (его вершина — канонические Евангелия): в самом произведении, в сюжете совершается фактическая победа добра над злом, вечной жизни над смертью. Но не только греки знали о том, что трагическое поражение порою сильнее влияет на человека, чем оптимистический финал. Всемирная литература полна мрачных кульминаций, недолгого и формального торжества злодейства над праведностью. Всемирная литература полна надежды — жертвуя собой, герой вытаскивает нас из трясины уныния и мизантропии.

Основы катарсических эффектов и одновременного высокого, бытийного оптимизма — где они? В области содержания — благородство, ощущение неуничтожимости человека, готовность к жертве, исход из любой упрощающей жизни формулы, максимальная искренность в познании и подведении итогов этого познания, высота присутствия автора и сила его голоса при возможном отсутствии позитивного героя. В области формы — только в этом произведении явленная несерийная жизнь языка, сюжетно-композиционное превращение самых разных движений в гармоничное единство, не завершающееся с самим текстом вопрошание о смысле,

выстраиваемый в произведении диалог, который охватывает самые разные сферы пребывания человека в мире.

В пространстве взаимодействия читателя с произведением катарсис – зерно бессмертия. Катарсис – изгнание вируса смерти! В платоновской “Апологии Сократа” приговорённый к казни философ учит примерно так: “Тот, кто не причастен к злым делам и мыслям, может быть уверен в своей защищённости. Ни здесь, ни после кончины не произойдёт с ним дурного. Не бойся! Мир устроен правильно, можно творить добро без опасения за свою судьбу. Жизнь сильной души бесконечна!” Думаю, что к этой мысли подводит каждое подлинное произведение. Фактом своего творения доказывая силу и светлые перспективы человека. Независимо от присутствия или отсутствия трагизма, от обращения к смеховой культуре, от реализации замысла в том или ином жанре.

Я не упрощаю. Лишь пытаюсь сообщить, что миссия литературы – не конкретный идеологический (и даже мировоззренческий) ответ, а вопрос, с которым читатель закрывает книгу, но не покидает обретенный идейно-художественный мир. Духовной интригой обращено к нам произведение. Об одной, – возможно, самой продуктивной – скажу особо. Она в “Книге Иова”, в канонических Евангелиях, в “Песне о Роланде”, “Гамлете” и “Фаусте”, в “Маленьких трагедиях” и “Братьях Карамазовых”.

Вот что здесь происходит. Есть сатана – как герой или дух упрощения. Он ненавидит человека, не верит в его силы и пытается доказать всему мирозданию, что главная задача жителя земли – успокоиться, удовлетвориться, комфортно обустроиться в прахе, подольше сохраниться в нём. Есть Бог – личность или интуиция текста. Он может и, пожалуй, должен посылать тяжёлые испытания, ввинчивать человека в трагические коллизии. Не ради наказания. Чтобы человек постоянно рос, понимает, что он – не червь и моль, а душа живая, родом из вечности. Также присутствуют мнимые друзья, бесконечно меняющие имена, – *Вилдады, Софары, Елифазы*. Эти фарисеи – борцы с духом и творцы однозначных истин. Они готовы славить Бога и хулить человека в обманчивом смирении. Лишь бы поймать истину, зажать её в кулаке, превратить в навсегда заученное слово о правде и кривде. То слово, которым можно – не только нравственно, но и юридически – приговорить любого, кто всё ещё ищет, движется к Богу, борясь с предложениями сатаны о прекращении пути.

И вот он герой: между расширяющим духовное сознание Отцом и сатаной – идеологом презрения к человеку и мастером рационализации, логически доказанного отвержения Небес. Рядом ложные товарищи – фарисеи. Они не существуют без осуждения любого свободного движения к истине. То, что приходит к герою, который вырывается из “дружеских” лап, отвергает искушения сатаны и движется к Богу, можно назвать крестом.

Интрига не в том, чтобы схватить и везде предьявлять данную схему – отрицать религиозное фарисейство и... одновременно стать его представителем в области словесности. Интрига – в живом характере истории, объединяющей Бога, сатану, героя и фарисеев. Дух и его противник, Голгофа и тот, кто поднимается на неё, – в каждом произведении разные, деформирующие исключительный опыт спасения от зла.

Возможно, литература – главный антифарисейский проект человечества. Священник Георгий Селин в книге “Загадка 2037 года” (2016) пытается убедить нас в демоническом характере художественного слова. Не без риска отвечу так. В канонических Евангелиях *литературность* (как свободная, противоритуральная художественность) сказывается во многом. В четырёх евангельских повествованиях (а не в одном!), мешающих выучить краткий рассказ о механизмах спасения. В притчах, ставящих познание в образах выше познания формульного, чётким знаком стиснутого. В учении о необходимости очищения внутреннего мира, о спасающей глубине духовного сознания, противопоставленных ветхозаветной теории оцениваемого поступка. В организации повествования: Евангелия больше похожи на роман, трагедию, на каскад хорошо пересказываемых эпизодов, чем на свод духовно-юридических законов. В самой интонации “Евангелия от Иоанна”, когда Греция с её поэтизацией самых серьёзных движений человека становится по-настоящему необходимой. В поругании книжников, лицемерных чиновников, отказывающихся от всякой сердечной сложности ради осуждения иных.

Возможно, в утверждении литературы — призыв к завершению многовековой эпохи порождения ересей и одновременно нарастающей борьбы с ними. Приходит иное понимание слова — не страх испачкаться в неправильной речи о самых высоких предметах, а готовность спастись во внутренней форме важнейших сюжетов — в интуиции добра без обязательного произведения заученных, не доходящих до сердца конструкций.

Почему плохо выглядят испровергатели литературы, заявляющие о своих безусловных православных позициях? Те, кто находят “гностицизм” и прочие ереси в “Мастере и Маргарите” или в “Пирамиде” Леонида Леонова? Сложность и действительно двойственную красоту мира, согласие с катарсисом (который необходим для евангелистов) они меняют на уверенность в стабильности и непобедимости ада. Святости не стоит искать в литературных апокрифах. Но ещё меньше её в инквизиторских жестах.

Русская литература (добавлю: вся великая словесность), — по слову Михаила Тарковского, “младшая сестра молитвы”, — не против христианства. Она ставит вопрос о том, что воскресает в нас, что действительно не подвластно смерти. Каким должен быть внутренний мир, чтобы душа оказалась достойной вечности, соответствовала божественному представлению о человеке. Ведь он не может быть исчерпан своим неизбежным разворачиванием в бытовых, социальных и других неизбежно эгоцентрических контекстах.

Художественная словесность препятствует полной победе ритуала и формы, какими бы значимыми и каноничными эти формы ни представляли. Мы видим — и уж точно не раз и не два! — как далёкий от религии герой на наших глазах поднимается по нравственной вертикали, а заучивший сакральные буквы антигерой вызывает в памяти тягостное движение вниз. Вниз! Несмотря на *соблюдение, соответствие* и даже иконы по стенам. Шумеро-аккадский Гильгамеш — большой христианин, чем крещёная госпожа Головлёва из салтыковского романа. Её сын Порфирий не меньший Иуда, чем евангельский предатель.

Произведение не остаётся в месте и времени своего создания, каркас мифологического или исторически конкретного мироздания здесь символ. Поэтому Гильгамеш не устарел, как устарела религия шумеров. Герой проходит путь от царствующего изверга до искателя вечной жизни, постигает цену дружбы и выдерживает удар после утраты друга, бьётся с хтоническими монстрами и учится говорить дурным богиням “нет”, полностью сливается с задачей найти истоки бессмертия и терпит героическое поражение на этом пути. Формально, фабульно Гильгамеш проиграл. При этом одержана литературная победа над смертью, в катарсическом переживании подвига героя — не пессимизм, а *предхристианство*.

Лишь бы не заиграться, не дойти до противоположной крайности в этой литературно разрастающейся борьбе с фарисейством. Страшнее книжников-лицемеров (готовы превратить жизнь и религию в страшный, юридически действующий комикс!) только неформалы-пустотники (в противостоянии закону и традиции могут доиграться до тотальности уничтожающего смеха и “весёлого” сатанизма). Бывает и так: борьба с фарисейством, в том числе на литературном поле, может привести к распылению мира, когда ты в осуждении лицемерия полностью, раз и навсегда теряешь представление об устойчивости жизни. Постмодернизм прошёл именно этот путь. Когда читаешь только что вышедший роман Олега Зоберна “Автобиография Иисуса Христа”, понимаешь, что есть фигуры не менее тяжкие, чем символические “книжники”.

При всей свободе (“апокриф” — не канон!) большая литература — это учение о человеке, о его движении к идеалу. Здесь снова не обойтись без слов о художественном произведении как о структуре. Краткости ради укажу лишь на теоретические работы Вадима Кожинова (например, “Роман — эпос нового времени”) и на поэзию близкого ему по духу Юрия Кузнецова.

Важно следующее. Литературное произведение в поисках совершенного влияния стремится к гармонии фабулы и сюжета. Фабула — событийность произведения, его пересказываемая целостность, ощущаемая телесность, земная воплощённость, ясность и разумная чистота существования. В фабуле оно отстаивает свою почти материальную плотность как история, ни с чем не сравнимая по значению жизнь человека и мира в целом. Фа-

бульность поэмы, романа, но и фабульности стиха – основа литературной эпичности, масштаба бытия, зафиксированного в чётком, по-своему очень телесном движении.

Сюжет – закономерное усложнение события; переход на иной уровень, когда центрированная история получает сложный уровень речи – монологического и диалогического слова, создающего музыкальность, полифонию воссозданной в произведении жизни. Если фабула – это желание материальности нашего пути, понятного, сразу заметного героизма, то сюжет – творение внутреннего эпоса, переход от того, что можно пересказать, к тому, что простому пересказу не подлежит. Фабула – явление поступка. Сюжет – совокупность подтекстов и ракурсов. Негативный предел фабульности – всё то же фарисейство. Негативная граница сюжетности – то, что принято называть (расширяя религиозно-культурный термин) “гностицизмом”.

И в Новом Завете, и в искусстве романа, и в поэтических жанрах – явление идеального человека в гармонии мощной фабулы и сложнейшего сюжета. Как человек внешнего эпоса, он знает, что есть священная обязанность – быть в мире, ценить его, вести борьбу со злом, учитывая историческое, социальное, политическое, то конкретно жертвенное, что всегда связано с поступком. Как человек внутреннего эпоса, он не готов упрощать бытие до лаконичных формул, он ищет не самые простые пути в мир речи, где понимание и прощение выше духовно-юридического осуждения.

Литература учит быть в мире, но не опускаться до его упрощения в том или ином тоталитарном усилии. Литература – один из последних бастионов классического человека. Душа для него – не фантастика и не атавистический орган нашей нравственной виртуальности, который можно легко променять на новые универсалии перманентной технической революции. Будущее классического сейчас нельзя назвать очевидным. Против него, как и против литературы, выдвигаются серьёзные силы.

Ещё я бы хотел сказать о силе и необходимости *дилетанства* в мире художественного слова. Толпы никем не читаемых *профессионалов*! Тонны бесполезных диссертаций, написанных литературоведами, знающими сотни терминов, но не ведающими, зачем Бог и человек породились в слове! Как же важно не стать надутым книжником, хилым *литературоцентристом*, сохранить живое восприятие произведения, которое зависит от твоего – совсем не обязательно научного – слова. Не утратить здоровую нищету духа, не превратить литературу в *обязательный предмет*! Чтобы подвинуть куда-нибудь к краю эту избыточную, от себя уставшую *научность*, нужны эссе и рецензии, неожиданные реплики и жанровые эксперименты. Необходимы рискующие *дилетанты*! В высшем смысле наивные души, которые веруют, что произведение призвано спасти читателя или хотя бы познакомить его с законами вечной жизни, а не стать объектом очередного занудного описания.

И ещё. Нам не стоит замыкаться в совершенстве национальной литературной традиции, горделиво утверждать, что мы – познали, а Запад – совсем наоборот. Никакого экуменизма – искусственного соединения в лживом кентавре! Однако художественная словесность (впрочем, как и само христианство) – возможность встречи подлинных элит, заинтересованных в завершении олигархического века. Наш русский удар будет совершенным, когда будет нанесён из всей всемирной словесности, при полном понимании, что Сервантес – не меньший союзник, чем Достоевский, а духовные искания Камю или Томаса Манна могут дать так же много, как путь Платонова или Булгакова. Гомеровский Ахиллес, шекспировский Гамлет и стэндалевский Жюльен Сорель сражаются на русской стороне.

Между ритуалом и нравственным делом располагается художественное слово. Оно сдерживает высокомерное обособление полюсов – ритуала, стремящегося магически решить главные вопросы, и дела, иронически отрицающего культовые жесты. Литература – дивный апокриф между нарушимым канонem и безответственностью беллетристики – должна помочь нам выжить, выдержать вызовы новейшего времени и стать действительно сильнее.

Литература не должна проиграть!